

Лит. газета - 1991 - 24 апреля - с 11

СВАРЛАМОМ ТИХОНОВИЧЕМ ШАЛАМОВЫМ я познакомился после его возвращения в Москву из «мест, не столь отдаленных». В это трудное для Шаламова время его добрым ангелом стала писательница О. С. Неклюдова. Когда он, безвестный, хворый, бездомный, начинал жизнь заново, горячо надеясь осуществить наконец свое призвание поэта, именно Ольга Сергеевна дала ему опору, приняла в нем незаменимое женское участие. Вскоре они поженились.

Маленькая, хрупкая, грустная, приветливая, с темно-кариыми глазами, в которых, казалось, всегда мерцала золотая искра, Ольга Сергеевна была воплощением природной чуткости и самоотверженности. Вероятно, за это ее и оценила в трагическом сорок первом году Марина Цветаева, когда они недолгое время дружили в эвакуации. Ценил ее советы и Борис Пастернак, в период «оттепели» посвящавший ее в свои литературные дела.

Старинное имя Варлам, в самом звучании которого отзывалось что-то от исконной, допетровской Руси, удивительно шло Шаламову. Высокий, худой, сутулый, с прямыми длинными волосами, с низким, хриплым, иногда зычным голосом, Варлам Тихонович был очень похож то ли на лесоруба, то ли на сельского священника. Впрочем, в лесорубы в то время он вряд ли уже годился: его одолевали бесчисленные хвори, найденные на Колыме. Он плохо держался на ногах (насколько я помню, из-за вестибулярных нарушений), и на ходу его слегка пошатывало. Он часто болел, помню, как он читал свои стихи в постели, при свете настольной лампы, изредка взмахивая рукой. Но все-таки он совсем не был похож на больного: слишком уж у него был неукротимый, буйный нрав, о покое он думал мало.

Вскоре начали выходить его первые книги... В пору нашего знакомства мне было чуть больше двадцати пяти лет. Варлам Тихонович был, как мне казалось, не очень общительным человеком, но он тянулся к молодежи, разбуженной временем «оттепели», до глубины души потрясенной тяжкими и суровыми откровениями, прозвучавшими в закрытом докладе Хрущева на партийном съезде. Правда, вскоре возникло и все более упрочивалось впечатление, что «новый курс» руководства проводится очень непоследовательно и неуверенно, и хотя с Шаламовым разговоры на подобные темы возникали редко, но явно было, что это раздражало и его. Сочувственный отклик молодежи на его стихи, думаю, был тем важнее Варламу Тихоновичу, что у него было мало возможностей для контакта со своими читателями.

Неуступчивость, суровость были глубоко заложены в самой натуре Шаламова, ему было столь же свойственно и презрение ко всему суетному, и полное равнодушие к почестям и наградам. Конечно, его радовали первые поэтические успехи, но не помню, чтобы он хоть раз упомянул об отзывах критики, заметившей его книги. Он знал цену себе как поэту, этого было довольно. В конце шестидесятых годов его настойчиво приглашали вступить в Союз писателей — он не спешил с этим. Помню, как он желчно говорил: «Зовут-то зовут, да я не тороплюсь. Там до сих пор и те самые люди, которые меня посадили».

Г. РАТГАУЗ

Восставший из немоты

О Варламе Шаламове

Посылая мне свою книгу «Дорога и судьба», Варлам Тихонович приложил к ней краткое, очень колоритное письмо. Вот отрывок из него: «Дорогой Г. Р.! Вы были бы польщены гораздо более, если бы книгу подписал не я, а Бертран Рассел. Однако Вам нужно помнить, что в каждой стране своя цена на кровь и на протест». Письмо датировано 7 июля 1967 года. Здесь есть слегка ироническое отношение к самому себе, на которое способны только умные люди. (Напомню близкое по духу высказывание величайшего мастера иронии Томаса Манна: «Все мы более или менее достойны смеха».) Но здесь и собственная Шаламову горделивая скромность, ясное осознание своего значения в литературе и своей общественной миссии.

Шаламов не часто вспоминал о своей молодости, как и о годах, проведенных весьма «далеко от Москвы».

— Потолкался, — рассказывал он, — в разных литературных кружках. Потом пришел в журнал «ЛЕФ», к Сергею Михайловичу Третьякову. Я тогда писал и для газет, занимался журналистикой, больше от безденежья, конечно. Сергей Михайлович поначалу встретил приветливо, звал печататься в журнале. «Напишите нам, — говорит, — статью на тему «Язык газеты». Или «Писатель в газете», что-нибудь такое». Я говорю: «Мне, Сергей Михайлович, хочется по принципиальным вопросам высказаться».

Он этак прищурился на меня сквозь очки и говорит: «По принципиальным вопросам мы сами пишем». Понял, что толку не дождешься от него, и ушел. Больше в «ЛЕФ» никогда не ходил.

Незадолго до ареста Шаламова в журнале «Литературный Современник» появился его рассказ «Пава и древо». Я прочел его как раз в пору нашего знакомства и поразился емкости и свежести этой лаконичной прозы. Сказал об этом Варламу Тихоновичу. Он, улыбувшись, заметил, что и сейчас доволен рассказом и что «Пава и древо» получила премию на каком-то литературном конкурсе и очень быстро была напечатана.

О своем аресте Шаламов лишь однажды кратко, но с большой горечью сказал, что он пострадал за распространение «фальшивки, именуемой пись-

мушка» была ему явно не по душе, раздражала его. Естественная и очень подкупавшая меня тяга молодых к полуопальному или опальному поэтическому наследию начала XX века (особенно к Хлебникову) Варламом Тихоновичем воспринималась совсем иначе. Он видел здесь вторичность, желание щеголять в чужих перьях, под горячую руку у него могли даже сорваться явно несправедливые слова о «плагиате» или, чего доброго, «мародерстве».

Думаю, подсознательно здесь могла сказываться ревность к успехам чуждого ему поэтического течения, но решающим, главным было все-таки утверждение безоговорочной прямоты в искусстве.

Его любимыми поэтами были Бунин и Пастернак. Имя Бунина я слышал от него часто: он помнил малейшие

подробности бунинской биографии, особенно раннего, орловского времени. Пастернак одним из первых оценил поэтическое дарование Шаламова, он постоянно поддерживал его в годы бедствий и скитаний. Шаламов бережно хранил книгу с большой дружеской надписью Пастернака, в которой поэт приветствовал освобождение Варлама Тихоновича и возвращение его в Москву. Помнится, это был «Фауст» Гёте в переводе Пастернака.

В обыденной жизни Варлама Тихоновича отличала детская наивность и непрактичность. Об иных случаях нельзя вспомнить без улыбки. Как-то Шаламов с редкой добротой и внимательностью осведомился о том, часто ли я печатаюсь. Получив ответ, что редко, он уверенно пообещал сосватать меня журналу «Москва», где тогда появлялись его стихи.

— Может быть, не стоит, Варлам Тихонович?

— Да будет вам! Поедем, и все тут. В назначенный день мы явились в журнал, он важно и с достоинством ввел меня в кабинет пожилой редакторши и кратко объявил: «Вот вам Ратгауз». Кажется, он добавил (или, вернее, пробубнил себе под нос) еще два-три слова, но настолько невнятно, что их нельзя было разобрать. И тут же скрылся в соседней комнате, оставив меня в обществе слегка ошара-

шенной собеседницы... Стоит ли говорить, что эта затея лопнула?

Он любил читать стихи на прогулках. Он шел, похожий на Дон Кихота, размахивая длинными костлявыми руками. Голова высоко поднята, лицо с резко обозначенными скулами казалось вырубленным из дерева...

— Говорят, что самая чистая поэзия — это любовные стихи. Врехня это. Поэзия — трудное мужское дело, знаете, кто лучше всех об этом сказал? Ходасевич. Вот послушайте:

Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья.
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье.

Уж не вернуться нам назад,
Хотя в ненастье нашей ночи,
Быть может, с берега глядят
Одни нам ведомые очи.

А нет — беды не много в том!
Забуты мы — и то не плохо.
Ведь мы и гибнем и поем
Не для девического вздоха.

И несколько раз повторял последние две строки...

Преданный одной только поэзии, горевший скрытой верой в свое назначение поэта, он жил в своем особом мире и не искал из него выхода. Он слышал своим уже ослабевшим слухом шум могучих таежных кедров, видел сияние тысячеверстных снегов. Он помнил угрюмые лица товарищей, вместе с которыми ему довелось изведать нечеловеческие муки и унижения. Мне казалось, что он (чем дальше, тем больше) замыкается в себе, быть может, и потому, что его одолевали все грознее наступавшие болезни. На моих глазах все более хрупким и непрочным становился его дом, семья. Больно было видеть, как возрастало обоюдное непонимание между ним и Ольгой Сергеевной... Позднее они расстались.

В последние годы жизни Варлама Тихоновича мы уже редко встречались. При жизни поэта его, говоря словами Бориса Слуцкого, «кормили. Но кормили — плохо. Его хвалили. Но хвалили — тихо. Ему давали славу. Но едва». Слуцкий здесь упомянут не случайно: он был одним из очень немногих известных писателей, которые уже тогда понимали значение Шаламова. Жизнь Шаламова была жизнью в тени, этому способствовало многое: его презрение к мирским благам и непрактичность, трудный характер, болезни и, главное, настроенное отношение к его «Колымским рассказам» — они, конечно, не могли тогда увидеть света, но ходили по рукам в списках, будоража умы, напоминая о том, о чем многие хотели забыть...

Лишь в наши дни, когда Варлама Тихоновича давно уже нет, к нему приходит та слава, которую он заслужил. Но к нашей радости примешивается и чувство горечи: для самого Шаламова это признание слишком запоздало.